

Детство с испуганными глазами

Мне два с половиной года. Я бегу с подушкой в руках вдоль какой-то изгороди. За мной осталась тьма катакомб, в которых мы прожили время бомбежек Одессы. Куда я бегу? Дома нет.

Очевидно, в этот момент перехода от темноты, длившейся так долго, к ослепительному свету солнечного дня мне и дарована была свыше Память. Во всяком случае, мои родные и близкие знают это мое достоинство — мою хорошую память. Может быть, это первое детское потрясение и вызвало, разбудило энергию памяти?

Во всяком случае, это не придуманное (увы, наделив меня памятью, Бог не послал мне дар вымысла), а действительно мое первое воспоминание, первое ощущение себя в этом мире.

Так начиналась для меня война.

Много лет спустя я прочла пронзительную фразу у Владимира Набокова: "О, не смотри на меня, мое детство, этими большими, испуганными глазами". Мне остро захотелось присвоить, если бы было возможно, эту фразу!

До войны отец работал на Куяльнике, в одном из санаториев, мы и жили там. Когда началась война, отцу было пятьдесят семь лет, маме тридцать пять, нас было трое дочерей — старшей, Леночке, четырнадцать, Тачке — девять, и мне — два с небольшим.

На фронт отца не взяли, эвакуироваться не смогли, остались бездомными.

Когда начались бомбежки, как и многие семьи, мы спрятались в катакомбы. Девятилетняя Тая, самая храбрая из нас троих, тайком выбиралась из катакомб, бегала на какие-то огороды с мальчишками, собирая помидоры для семьи.

Наши покинули Одессу, 16 октября вошли немцы. Надвинулась осень. Мама все время боялась, что нас завалит в катакомбах, что мы будем погребены заживо. Из катакомб надо было уходить. Куда? Куяльник разбомблен, залит водой, отрезан от города. Жить там невозможно. Собрать свои пожитки, мы как-то перебираемся в город. (До сих пор для меня остается тайной, как через затопленные Куяльник и Пересыпь перетасили наш буфет, сделанный моим дедушкой к маминой свадьбе. Мама этот буфет, отцовский подарок, очень любила и не расставалась с ним до конца своих дней.)

Отец не любил советскую власть, справедливо считая ее безбожной. Но и новую, оккупационную, не принял. В отличие от многих, знавших немецкую культуру и перенесших свое восхищение ею на пришельцев в военной форме, отец, воевавший на фронтах Первой мировой, германской, как он ее всегда называл, помнил жестокость немецких атак. Кроме того, война была катастрофой, несчастьем, горем, и он не обольщался посулами новой власти. Поэтому никакое, даже малейшее служение оккупантам для отца было неприемлемым. Но семья была большая, нужно было как-то жить. И отец, начиная с ранней весны, ходит на хутор, где живет мамина родня, переехавшая на Украину из-под Вятки после гражданской войны. Он именно ходит, чтобы не просить разрешения на поездку пригородным поездом, идет сорок или пятьдесят километров пешком, иногда какая-нибудь подвода подбирает его. И так эти походы, небезопасные, он совершает раза два в месяц, чтобы не оставлять семью надолго. Там, на хуторе, он помогает пахать, сеять, жать, собирать урожай, за что и получает мешок кукурузы, мешок картошки, еще какой-нибудь натурпродукт, с тем, чтобы поздней осенью опять же попутными подводами привезти это в Одессу. Отец вообще был человек Идущий. В молодости, перед Первой мировой, он совершил паломничество по Святым местам, побывал на Афоне, пешком прошел всю Святую Землю — от Яффы до Иерусалима; Назарет, Тивериадское озеро, Вифлеем. Потом на ногах — Первая мировая.

До глубокой старости, а скончался он в восемьдесят пять лет, отец почти всегда ходил пешком, совершая подчас, как во время войны, долгие пешие походы.

Удивительно, что при моей цепкой памяти и интересе ко всяким деталям, мелочам, я совершенно не помню оккупационные деньги. Думаю, что мы вели натуральное хозяйство, что-то из сельхозпродуктов обменивая на самые насущные вещи.

"Из тени в свет перелетая", проходит передо мной мое военное детство.

Дворик на Пушкинской угол Малой Арнаутской стал нашим пристанищем после Куяльника. Какое-то помещение с подслеповатыми окошками, выходящими во двор, в котором я обитаю, не смея выйти, даже выглянуть за ворота. Мир существует для меня только в тесном пространстве этого двора. Во всяком случае, никаких впечатлений вне двора. На втором этаже живут две молодые женщины. Свесившись с подоконника, они приветливо зовут меня к себе. Я храбро поднимаюсь по ступенькам на второй этаж. Дамы угощают меня конфетами и даже шоколадом! Я впервые

в своей короткой еще жизни ощущаю божественный, неземной вкус сладостей. Но раздается звонок (а может, стук) в дверь. К дамам приходят двое мужчин в военной форме, и только что такие ласковые и приветливые обитательницы второго этажа достаточно поспешно и бесцеремонно выдворяют меня за дверь. Я громко плачу от обиды и непонимания: "За что?!". Мама же, узнав о происшествии, ка-те-го-ри-че-ски запрещает мне ходить к этим "дамам". Должно было пройти много лет, чтобы, повзрослев, я поняла, за чем приходили военные к этим двум женщинам, и почему так отреагировала на мой (без спросу!) визит к ним моя мама.

И еще одно воспоминание связано с этим двориком.

Боковой одноэтажный флигель занимает румынский офицер. На крыльце можно часто видеть его денщика, надраивавшего до блеска сапоги своего домнула офицера. И вдруг однажды на этом крыльце в сопровождении того же денщика появляется с белокурыми локонами девочка, показавшаяся мне живой куклой. А из окна доносится томный женский голос: "Лулу-у!". Это жена офицера с дочкой приехали в завоеванную Транснистрию. Ни разу мы не сделали шаг навстречу друг другу! Нейтральная полоса даже между нами, маленькими сверстницами, была непреодолимой. Интересно, как смотрела Лулу на маленькую завоеванную туземку? Что стало с этой кукольной девочкой, вспоминала ли она свою детскую поездку в Одессу, своего няньку-денщика, бродившую по двору в одиночестве девочку? Мне этот двор запомнился резким столкновением света и тени: на залитом солнечным сиянием крыльце Лулу, и я, исподлобья за ней наблюдающая из затемненной части двора...

Уж не помню, не знаю, как мы оказались на следующей кочевой стоянке — на Гимназической и Большой Арнаутской. О, именно с этим двором и связано большинство моих воспоминаний военных лет.

Прежде всего, именно в этом дворе я научилась различать две военные формы и степень опасности, связанной с ними. Если во дворе появлялись солдаты, одетые в темно-зеленую форму, плохо на них сидевшую, можно было продолжать играть во дворе. Это забрели румыны, которые будут ходить по квартирам, что-то выменивать либо отнимать какие-нибудь вещи или продукты. Но если во двор входили немцы в ладно скроенной голубовато-серой форме, дети разлетались, как воробьи. Я бежала домой, изо всех сил хлопала осевшей дверью. На голову летела штукатурка...

Сюда забрали родители свою одинокую приятельницу, умиравшую от рака, чтобы ухаживать за ней до ее последнего вздоха. Впервые я увидела ампулы и не понимала, почему такие хорошенькие бутылочки всегда с от-

битыми горлышками. Помню красные таблетки стрептоцида. Врач сказал, что больной нужны лимоны (это при неизлечимой болезни!). Мы были бедны, и лимоны были недоступны, а, может, их в это время и не было в Одессе, их можно было привезти из Румынии. Мама знала, что у больной приятельницы есть племянница, вышедшая замуж за румына. Только чувство долга заставило маму собрать все свои чувства в кулак и пойти попросить лимоны для умирающей тети. Племянница так у нас и не появилась, чтобы проведать умирающую тетку, но через какое-то время прислала денщика мужа. Он принес два гнилых лимона! Мама отправила их назад. Даже много лет спустя при воспоминании об этом мама бледнела, и у нее дрожали губы.

Именно здесь, в этом доме, я рано научилась читать. Первое стихотворение, которое я запомнила наизусть и с упоением читала, не понимая в нем многих слов, было лермонтовское "Бородино". Но чем непонятнее были слова: "улань с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами", тем более они завораживали! Среди других книг, разрозненных (в основном русская классика), как-то затесался катаевский "Белеет парус одинокий". Как я любила эту книгу! Я знала ее наизусть. И теперь, столько десятилетий спустя, моя детская любовь к этой книге остается неизменной, неистраченной. Я так благодарна ей за детскую любовь к девочке Моте, к Пете и Гаврику, к ружью "монтекросто", к надкусанным пряникам на елке, к слюдяным дорожкам от "равликов-павликов" на заборе дачи Маразли, к проезжающему по Французскому бульвару ландо Каульбарса. Проходя мимо аптеки на Канатной и Базарной, я всегда с нежностью вспоминаю, что мимо нее ехала семья Бачей, возвращаясь из Аккермана, а почти рядом с нами, на Новорыбной и Гимназической, в гимназии, Петя вздохнул читал "Белеет парус одинокий" и должен был считать до миллиона!..

А долгими вечерами при свете керосиновой лампы мама читала вслух Некрасова, Жуковского, Пушкина. Для меня Пушкин начался с "Песни о вещем Олеге".

Как многие мои сверстницы, вспоминаю осколки фарфоровых тарелок с остатками росписи, из которых складывались драгоценные мозаики. Словно предвосхищая еще не написанный Патриком Зюскиндом "Парфюмер", мы с детским варварством набивали флакончики мятой, чабрецом, заливали водой и ждали появления ароматов, а нас обдавал запах застоявшейся воды.

Мама из лоскутков шила тряпичные куклы. Дедушка выпилил, укреп-

пил на ниточках, раскрасил "Петрушку" — подобие марионетки. Сколько было радости!

А на мой четвертый день рождения друзья моей старшей сестры, Леночки, казавшиеся мне взрослыми, а им было по шестнадцать-семнадцать лет, сделали волшебный подарок. Не знаю уж, где они купили игрушечный диванчик, по размерам подобный мебели в "Нащокинском домике", только не ампирный, а буржуазный — с кожаными спинкой и валиками, с деревянной полочкой и овальным зеркальцем. Эта игрушка вызвала восхищение даже у избалованных взрослых. Что же говорить обо мне!

И еще одно сладостное воспоминание об игрушках. Моя вторая сестра, Таечка, со своей подружкой долго (тогда все казалось долгим) собирали копейки и в магазине "Два слона" купили игрушечного негритенка из папье-маше. Его одевали как девочку, сокрушаясь, что не смогли купить настоящую куклу — девочку. Целлулоидные девочки стоили дорого. Условились, что один день он будет жить у нас, другой день у подружки, жившей напротив. Нужно ли говорить, что один день вместе с негритенком у нас с утра до вечера жила подружка, на второй день сестра с пупсом отправлялась к подружке. Я же неотступно следовала по обоим маршрутам за сестрой, за ее подружкой, за негритенком!

Вся Одесса для меня была этим двором. Мама водила меня в церковь, и эти несколько кварталов были для меня огромным неведомым пространством: другие дома, на мостовой повозка с лошастью, незнакомые люди.

Смутно помню какой-то рождественский утренник в монастыре на Успенской. Родители с довоенных лет дружили с его настоятельницей, матушкой Анатolieй. Она иногда бывала у нас дома. Помню немолодую грузную женщину со строгим лицом. Может, этих утренников было несколько, но для меня они слились в одно воспоминание. Подарки с рождественской елки — незатейливая игрушка, пряник, яблоко... Но для меня, не избалованной праздниками во время войны, само чудо елки, полученного подарка, недолгое общение с другими детьми были нечаянной радостью.

Детские страхи всю войну гуляли со мной под ручку. Наша большая семья обитала в двух маленьких комнатах, рядом была абсолютно пустая комната. И рядом, в соседней квартире была такая пустынная комната. Эти, покинутые жильцами, покрытые слоем пыли комнаты и притягивали меня, и пугали. Крайне редко взрослые открывали таинственные двери, я в одиночестве входила туда — пустые, они казались мне огромными

и страшными, Сделав по пыльному полу несколько робких шагов, я в ужасе убежала в тесный домашний мир нашего временного жилья. Страхи, страхи — из шепота взрослых, обрывков разговоров, непонимания, откуда эта вязкая тревога.

Последние недели, дни перед освобождением Одессы. Страх с большей силой поселяется в моей незащищенной душе. Старшую сестру и ее ровесника, сына соседки, прячут за какими-то шкафами, потом вообще уводят ночевать к каким-то знакомым — говорят, что будут забирать молодёжь. Мама прибегает с побелевшим лицом, чудом не попала на Привозе в облаву. Я не понимаю многих слов, но что за ними таится ужас — остро чувствую. Все время кто-то приносит во двор тревожные новости — горит порт, горит спиртзавод.

Мы с мамой стоим на углу Пушкинской и Малой Арнаутской (очевидно, мы возвращались из Ильинской церкви. Теперь я думаю, может это было на Благовещенье, седьмого апреля?), и я вижу первый в своей жизни пожар. Горит табачная фабрика (на том месте, где теперь Универмаг). Пламя охватило все четыре этажа, вздымается выше, до небес. Мама плачет. На этой фабрике до войны работал муж скончавшейся недавно приятельницы. Зрелище пожара завораживающе невыносимо. (Лет десять после войны стоял обгоревший каменный остов этого здания эпохи позднего модерна, с прекрасными барельефами. Когда его разобрали под стройплощадку для будущего универмага, еще долго беспризорными лежали остатки этих барельефов на Малой Арнаутской. Я помню, что Илья Шенкер подобрал, спас один из таких барельефов. Сохранился ли он где-то? Вряд ли художник увез его в Штаты.)

Наконец наступает девятое апреля. По городу (я помню, и на нашем доме) расклеены объявления-приказы: закрыть окна, ставни, оставить открытыми ворота, двери парадных и квартир. Началась тихая паника: что значат открытые двери — предвестие резни, засад, уличных боев?!

Под вечер мама отодвинула на окне, выходявшем на Большую Арнаутскую, какую-то темную занавеску, начала плакать и креститься: "Боже, наконец-то! Они уходят!". Шепотом, еще боясь крикнуть, еще не веря — они уходят! Я тут же, встав на цыпочки, выглянула в окно. По Большой Арнаутской, в сторону Пушкинской, Ришельевской и дальше шли колонны, в которых уже не было выправки, щеголеватости. Зеленые и голубовато-серые цвета шинелей приобрели один — подавленно серый цвет.

И наконец утро десятого апреля! Залитый солнцем город, и по той же Большой Арнаутской, только теперь уже откуда-то оттуда, от Пересыпи,

от Старопортофранковской, от Пушкинской и Ришельевской шли Наши! Уставшие, в мокрых по грудь гимнастерках (взорвана дамба, к центру подходили почти вплавь!), не чеканя шаг, со счастливыми улыбками на лицах, они заполнили всю Большую Арнаутскую. На улицы высыпали все, Тут же на ходу обнимали, называли родные имена, не встречали ли такого-то на фронте, может, что-то знаете, где-то встретились на фронтовой дороге? Все, что было в доме, выносилось на улицу, Я помню наш голубой эмалированный кофейник, наполненный горячим напитком из эрзац-кофе (другого не было!), хлеб, куски мамалыги, картошку, словом, то, что было у нас, мы с сестрами носили по рядам. И слезы, слезы радости и утрат на всех лицах.

Судьба подарила мне много счастливых дней, много ярких, неповторимых встреч, событий.

Но то, что пятилетним ребенком я пережила 10 апреля 1944 года, не сравнимо абсолютно ни с чем!

Потом уже появились первые саперы и надписи на стенах домов: "Проверено. Мин нет". И госпитали с ранеными, слепые с трофейными аккордеонами в сопровождении маленьких поводырей ходившие по дворам, и плач, вой женщин, получавших похоронки.

И было впереди Девятое мая. Я смутно помню пальбу, крики радости. Действительно, смутно. Потому что для моего детства, для меня война закончилась в апреле сорок четвертого.



Олег ГУБАРЬ

Удельный переулоч

**Храм Николая Мирликийского и мученицы Ариадны
(ныне — храм во имя преподобного Иоанна Кронштадтского)**

Серия публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом продолжается. Неизменный спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", давно и плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости.



В начале XX столетия на морской (левой) стороне Французского бульвара существовало девять переулков, из которых лишь два имели собственные имена (первый — Юнкерский, третий — Удельный), а остальные обозначались просто римскими цифрами. Удельный переулок получил свое название по находившемуся прямо напротив него, на правой стороне Французского бульвара, заводу виноградных вин, принадлежавшему так называемому Удельному ведомству, или Ведомству уделов, то есть государственной структуре, ведавшей земельными уделами и личной недвижимостью непосредственно представителей царствующего императорского дома Романовых. Означенный винзавод был первоначально основан на земельном участке, принадлежавшем известному химику, основателю Одесского общества искусственных минеральных вод Энно, французским предпринимателем-винооторговцем Франсуа Нуво еще в середине позапрошлого столетия. Завод этот, сохранивший старые корпуса и просторные винные погреба, существует и поныне.

До революции в Удельном переулке насчитывалось девять земельных участков и соответственно домостроений, преимущественно дачного типа: пять (Барбариго, Шамаревских, Сахарова, Алексеева и Греческой богадельни имени Г.Г. Маразли) на нечетной и четыре (Васильева, Молинари, Гречина и Ведде) на четной стороне. Владельцами этих участков зачастую были люди известные и состоятельные: как, например, крупный предприниматель Л. Ведде, популярный мраморщик и скульптор М. Молинари и др.

Под последним, девятым номером, в переулке значилась богадельня Греческого благотворительного общества. Как отдельное церковное попечительство это Общество действовало с декабря 1871 года и содержало на